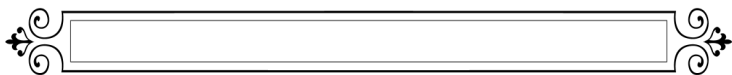


ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК



1

Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным дорогам земли.

Он выбрал себе тут удобное место, на краю осокового болотца, где оканчивалась насыпь и рельсы укатанной однопутки бежали по гравию почти наравне с землей. Проселок, спускаясь с пригорка, пересекал железную дорогу и сворачивал в сторону леса, образуя перекресток. Его когда-то обнесли полосатыми столбиками и поставили рядом два таких же полосатых шлагбаума. Тут же одиноко ютилась оштукатуренная будка-сторожка, где в стужу дремал у жаркой печки какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Теперь в будке не было никого. Настырный осенний ветер то и дело поскрипывал настежь распахнутой дверью; словно искалеченная человеческая рука, протянулся к студеному небу сломанный шлагбаум, второго совсем не было. Следы явной заброшенности тут лежали на всем, видно, никто уже не думал об этом железнодорожном строении: новые, куда более важные заботы овладели людьми — и теми, кто недавно хозяйничал тут, и этими, что остановились теперь на заброшенном глухом переезде.

Подняв от ветра воротники обтрепанных, заляпанных глиной шинелей, шестеро их стояло группкой у сломанного шлагбаума. Слушая комбата, который объяснял им новую боевую задачу, они жались друг к другу и невесело посматривали в осеннюю даль.

— Дорогу надо перекрыть на сутки, — хриплым протуженным голосом говорил капитан, высокий, костлявый человек с заросшим усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. — Завтра, как стемнеет, отойдете за лес. А день — держаться...

Там, в поле, куда глядели они, высился косогор с дорогой, на которую роняли остатки пожелтелой листвы две большие коренастые березы, и за ними, где-то на горизонте, заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию огромной бритвы, тускло блестела в небе.

Серый осенний вечер, пронизанный холодной, надоедливой мглою, казалось, был наполнен предчувствием неотвратимой беды.

— А как же с шанцевым инструментом? — грубоватым басом спросил старшина Карпенко, командир этой небольшой группы. — Лопаты нужны.

— Лопаты? — задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полоску заката. — Поищите сами. Нет лопат. И людей нет, не проси, Карпенко, сам знаешь...

— Ну да, и людей не мешало бы, — подхватил старшина. — А то что пятеро? Да и то вон один новенький и еще этот «ученый» — тоже мне вояки! — зло ворчал он, стоя вполоборота к командиру.

— Противотанковые гранаты, патроны к пэтээру, сколько можно было, вам дали, а людей нет, — устало говорил комбат. Он все еще всматривался в даль, не сводя глаз с заката, а потом, вдруг встрепенувшись, повернулся к Карпенко — коренастому, широколицему, с решительным взглядом и тяжелой челюстью. — Ну, желаю удачи.

Капитан подал руку, и старшина, уже весь во власти новых забот, равнодушно попрощался с ним. Так же сдержанно пожал холодную руку комбата и «ученый» — высокий, сутулый боец Фишер; без обиды, открыто

взглянул на командира новичок, на которого жаловался старшина, — молодой, с печальными глазами рядовой Глечик. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», — беспечно пошутил пэтээровец Свист — белобрысый, в расстегнутой шинели, жуликоватый с виду парень. С чувством собственного достоинства подал свою пухлую ладонь неповоротливый, мордастый Пшеничный. Почтительно, пристукнув грязными каблуками, попрощался чернявый красавец Овсеев. Поддав плечом автомат, командир батальона тяжело вздохнул и, скользя по грязи, направился догонять колонну.

Расстроенные прощанием, они остались все шестеро и какое-то время молча смотрели вслед капитану, батальону, коротенькая, совсем не батальонная колонна которого, мерно покачиваясь в вечерней мгле, быстро удалялась к лесу.

Старшина стоял недовольный и злой. Еще не совсем осознанная тревога за их судьбы и за то нелегкое дело, ради которого они остались здесь, все настойчивее овладевала им. Усилием воли Карпенко, однако, подавил в себе это неприятное ощущение и привычно закричал на людей:

— Ну, чего стоите? Геть за работу! Глечик, поищи-ка ломачину какую! У кого есть лопатки, давай копать.

Ловким рывком он вскинул на плечо тяжелый пулемет и, с хрустом ломая сухой бурьян, пошел вдоль канавы. Бойцы гуськом неохотно потянулись за своим командиром.

— Ну вот, отсюда и начнем, — сказал Карпенко, опускаясь у канавы на колено и всматриваясь в косогор поверх железной дороги. — Давай, Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка у тебя есть, начинай.

Коренастый, крепко сбитый Пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил ее в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от бойца шагов десять вдоль канавы, Карпенко снова присел, посмотрел вокруг, ища глаза-

ми, кого назначить на новое место. С его грубоватого лица не сходили озабоченность и злое неудовлетворение теми случайными людьми, которых выделили в его подчинение.

— Ну, кому тут? Вам, Фишер? Хотя у вас и лопатки нет. Тоже мне вояка! — злился старшина, поднимаясь с колена. — Столько на фронте, а лопатки еще не имеете. Может, ждете, когда старшина даст? Или немец в подарок пришлет?

Фишер, испытывая неловкость, не оправдывался и не возражал, только неуклюже горбился и без нужды поправлял очки в черной металлической оправе.

— В конце концов, чем хотите, а копайте, — сердито бросил Карпенко, поглядывая куда-то вниз и в сторону. — Мое дело маленькое. Но чтобы позицию оборудовал.

Он направился дальше — сильный, экономный и уверенный в движениях, словно был не командиром взвода, а по меньшей мере командиром полка. За ним покорно и безразлично поплелись Свист и Овсеев. Оглянувшись на озабоченного Фишера, Свист сдвинул на правую бровь пилотку и, показав в улыбке белые зубы, съязвил:

— Вот задачка профессору, ярина зеленая! Помочь не устать, да надо дело знать!..

— Не болтай! Ступай-ка вон к белому столбику на линии, там и копай, — приказал старшина.

Свист свернул в картофляник, еще раз с улыбкой оглянулся на Фишера, который неподвижно стоял у своей позиции и озабоченно теребил небритый подбородок.

Карпенко с Овсеевым подошли к сторожке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски огляделся. Из двух выбитых окон упруго тянул пронизывающий сквозняк, на стене болтался надорванный порыжелый плакат, призывавший разводить пчел. На затоптанном полу валялись куски штукатурки, комья грязи, соломенная труха. Во-

няло сажей, пылью и еще чем-то нежилым и противным. Старшина молча осматривал скупые следы человеческого жилья. Овсеев стоял у порога.

— Вот кабы стены потолще, было бы укрытие, — подобревшим тоном, рассудительно сказал Карпенко.

Овсеев протянул руку, пощупал отбитый бок печки.

— Что, думаешь, теплая? — строго усмехнулся Карпенко.

— А давайте вытопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться, — оживился боец. — А, старшина?

— Ты что, к теще на блины пришел? Греться! Подожди, вот наступит утро — он тебе даст прикурить. Жарко станет.

— Ну и пусть... А пока что какой смысл мерзнуть? Давай затопим печку, окна завесим... Как в раю будет, — настаивал Овсеев, поблескивая черными цыганскими глазами.

Карпенко вышел из будки и встретил Глечика. Тот тащил откуда-то кривой железный прут. Увидев командира, Глечик остановился и показал находку.

— Вот вместо лома — дробить. А выбрасывать и пригоршнями можно.

Глечик виновато улыбнулся, старшина неопределенно посмотрел на него, хотел по обыкновению одернуть, но, смягчившись наивным видом молодого бойца, сказал просто:

— Ну давай. Вот здесь — по эту сторону сторожки, а я уже — по ту, в центре. Давай, не тяни. Пока светло...

2

Вечерело. Из-за леса ползли сизые мрачные тучи. Они тяжело и плотно затянули все небо, закрыли блестящую полоску над косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с бешеной осенней яростью теребил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную

линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, от сильного ветра выплескиваясь из луж, брызгала на обочину студеными грязными каплями.

Бойцы на переезде дружно взялись за дело: копали, вгрызались в затвердевшую залежь земли. Не прошло и часа, как Пшеничный чуть не по самые плечи зарылся в серую кучу глины. Далеко вокруг, отбрасывая рассыпчатые комья, легко и весело копал свою позицию Свист. Он снял с себя все ремни и одежду и, оставшись в гимнастерке, ловко орудовал маленькой пехотинской лопаткой. В двадцати шагах от него, тоже над линией, время от времени останавливаясь, отдыхая и оглядываясь на друзей, с несколько меньшим старанием окапывался Овсеев. У самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную позицию Карпенко; по другую сторону от него старательно долбил землю раскрасневшийся, потный Глечик. Взрыхлив прутом грунт, он руками выбрасывал комья и снова долбил. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его старшина, и, пряча в рукава озябшие руки, листал какую-то книжку, временами припадая взглядом к ее истрепанным страницам.

За этим занятием и увидел его Карпенко, когда, приостановив работу, вышел из-за сторожки. Усталого старшину передернуло. Выругавшись, он набросил на потную спину залубенелую от грязи шинель и вдоль канавы направился к Фишеру.

— Ну что? Долго вы будете сидеть? Может, думаете, если нечем копать, я вас в батальон отправлю? В безопасное место?

С виду безразличный ко всему Фишер вскинул голову, его близорукие глаза под стеклами очков растерянно заморгали, затем он неловко поднялся и, заикаясь от волнения, быстро заговорил:

— М-м-можете не беспокоиться, товарищ командир, это исключено. Я н-н-не меньше вас понн-н-нимаю свои обязанности и сделаю все, чт-т-то нужно, без лишних эксцессов. В-в-вот...

Слегка удивленный неожиданным выпадом этого тихого человека, старшина не сразу нашелся, что ответить, и передразнил:

— Ишь ты: эсцексов!

Они стояли так друг против друга: взволнованный, с дрожащими руками, узкоплечий боец и уже спокойный, властный, полный уверенности в своей правоте коренастый командир. Нахмутив колючие брови, старшина с минуту раздумывал, что делать с этим неумехой, а потом, вспомнив, что на ночь нужно выставить дозор, уже спокойнее сказал:

— Вот что: берите винтовку и марш за мной.

Фишер не спросил, куда и зачем, с подчеркнутым безразличием засунул за пазуху книжку, взял за ремень винтовку с примкнутым штыком и, спотыкаясь, покорно побрел за старшиной. Карпенко, на ходу надевая шинель, осматривал, как окапывались остальные. Проходя возле своей ячейки, он коротко бросил Фишеру:

— Возьми лопатку.

Они вышли на переезд и по заслеженной сотнями ног дороге направились на пригорок с двумя березами.

Сумерки быстро сгущались. Небо совсем потемнело от туч, сплошной массой обложивших его. Ветер не стихал, зло рвал полы шинелей, забирался за воротники, в рукава, выжимал из глаз студеные слезы.

Карпенко шагал быстро, не особенно выбирая дорогу и уж совсем не жалея своих новых кирзовых сапог. Фишер, подняв ворот шинели и натянув на уши пилотку, тащился за ним. К бойцу снова вернулось обычное для него безразличие, и он, скользя взглядом по загустевшей дорожной грязи, старался не шевелить забинтованной, в чирьях, шеей. Ветер ворошил в канавах листву, вокруг неуютно шетинилась стерня осеннего поля.

На середине косогора Карпенко оглянулся, издали окинул взглядом позицию своего взвода и тут увидел, что его подчиненный отстал. Еле-еле переставляя ноги, он снова листал на ходу свою книгу. Карпенко был

непонятен подобный интерес к книгам, и он, немало удивленный, остановился и подождал, пока боец догонит его. Но Фишер так был поглощен чтением, что не видел старшину, позабыл, вероятно, куда и зачем шел, только перебирал страницы и что-то тихо шептал про себя. Старшина нахмурился, но по обыкновению не прикрикнул, только нетерпеливо переступил на месте и строго спросил:

— Это что за библия?

Фишер, видно, еще не забывший недавней ссоры, сдержанно сверкнул стеклами очков и отвернул черную обложку.

— Это биография Челлини. А вот репродукция. Узнаете?

Карпенко глянул на снимок. На черном фоне стоял обнаженный, взлохмаченный человек и, глядя в сторону, хмурил брови.

— Давид! — между тем объявил Фишер. — Знаменитая статуя Микеланджело. Вспоминаете?

Но Карпенко ничего не вспоминал. Он еще заглянул в книжку, окинул недоверчивым взглядом Фишера и сделал шаг вперед. Нужно было спешить, чтобы за светло выбрать место для ночного дозора, и старшина торопливо зашагал дальше. А Фишер озабоченно вздохнул, расстегнул противогазную сумку и бережно положил туда книгу рядом с куском хлеба, старым «Огоньком» и патронами. Затем, как-то сразу повеселев, уже не отставая, пошел за старшиной.

— Вы что, взаправду ученый? — почему-то насторожившись, спросил Карпенко.

— Ну, ученый — это, может, чересчур громкое определение для меня. Я только кандидат искусствоведения.

Карпенко немного помолчал, стараясь понять что-то, а потом сдержанно, словно опасаясь выявить свою заинтересованность, спросил:

— Это что? По картинам спец или как?

— И по картинам, но, главным образом, по скульптуре эпохи Возрождения. В частности, специализировался по итальянской скульптуре.

Они поднялись на пригорок, из-за которого открылись новые, уже затуманенные вечером дали — поле, ложбина, покрытая кустарником, далекий ельник, впереди у дороги — соломенные крыши деревни. Рядом, у канавы, качая на ветру тонкими ветвями, жалобно шелестели порыжелой листвой березы. Они были толстые и, видно, очень старые, эти извечные сторожа дорог, с потрескавшейся, почерневшей корой, густо усыпанные шишками наростов, с вбитыми в стволы железно-дорожными костылями. У берез старшина свернул с дороги, перепрыгнул заросшую бурьяном канаву и, зашуршав по стерне сапогами, направился в поле.

— А он что, этот голый, из гипса вылеплен или как? — спросил он, сделав явную уступку невольной своей заинтересованности. Фишер сдержанно, одними губами снисходительно улыбнулся, словно ребенку, и пояснил:

— О нет. Эта пятиметровая фигура Давида высечена из цельного куска мрамора. Вообще гипс для монументальной скульптуры в древности и во времена Ренессанса мало применялся. Это уже распространенный материал нового времени.

Старшина снова спросил:

— Говоришь, из мрамора? А чем же он такую глыбу высек? Машиной какой-нибудь?

— Ну что вы? — удивился Фишер, шагая рядом с Карпенко. — Разве можно машиной? Безусловно, руками.

— Ого! Это же сколько нужно было долбить? — в свою очередь, удивился старшина.

— Два года, с помощниками, конечно. Нужно сказать, что в искусстве это еще небольшой срок, — помолчав, добавил Фишер. — Александр Иванов, например, работал над своим «Мессией» почти двадцать два года, француз Энгр писал «Родник» сорок лет.

— Смотри ты! Наверно, трудно. А он кто такой, этот, что сделал Давыда?

— Давида, — деликатно поправил Фишер. — Он итальянец, уроженец Флоренции.

— Что — муссолинец?

— Да нет. Он жил давно. Это знаменитый художник Возрождения. Величайший из великих.

Они еще прошли немного. Фишер уже держался рядом, и Карпенко искоса раза два глянул на него. Худой, со впалой грудью, в короткой, подпоясанной под хлястик шинели, с забинтованной шеей и заросшим черной щетиной лицом боец выглядел весьма неприглядно. Одни только черные глаза под толстыми стеклами очков теперь как-то ожили и светились отражением далекой сдержанной мысли. Старшина про себя удивился тому, как иногда за таким неказистым видом скрывается образованный и, кажется, неплохой человек. Правда, Карпенко был уверен, что в военном деле Фишер не многого стоит, но в глубине души он уже почувствовал нечто похожее на уважение к этому бойцу.

Шагах в ста от дороги Карпенко остановился на стерне, посмотрел в сторону деревни, оглянулся назад. Переезд в ложбине едва серел в вечернем сумраке, но отсюда еще был виден, и старшина подумал, что место для дозора тут будет подходящее. Он притопнул каблучком по мягкой земле и, переходя на обычный свой командирский тон, приказал:

— Вот тут. Копай. Ночью спать — ни-ни. Смотри в оба и слушай. Пойдут — стреляй и отходи на переезд.

Фишер снял с плеча винтовку и, взявшись обеими руками за короткую ручку лопатки, неумело ковырнул стерню.

— Эх ты! Ну кто так копает! — не выдержал старшина. — Дай сюда.

Он выхватил у бойца лопатку и, легко врезая ее в рыхлую землю пашни, ловко растрассировал одиночную ячейку.

— Вот на... Так и копай. Ты что, кадровую не служил?

— Нет, — признался Фишер и в первый раз искренне улыбнулся. — Не довелось.

— Оно и видно. А теперь вот намаешься с вами, этими...

Он хотел сказать «учеными», но смолчал, не желая вкладывать в это слово своего прежнего язвительного смысла. Пока Фишер кое-как ковырялся в земле, Карпенко присел на стерне и, защищаясь от ветра, стал сворачивать сигарку. Ветер выдувал из бумажки махорочную труху, старшина бережно придерживал ее пальцами и торопливо завертывал. Сумерки тем временем все плотнее окутывали землю, на глазах затягивался тьмой переезд со сторожкой и сломанным шлагбаумом, растворялись в ночи далекие крыши деревни, только по-прежнему тревожно шумели у дороги березы.

Закрывая от ветра трофейную зажигалку, старшина сторбился, стараясь прикурить, но вдруг лицо его дрогнуло и насторожилось. Вытянув жилистую шею, он глянул на переезд. Фишер тоже почувствовал что-то и, как стоял на коленях, так и замер в напряженной, неловкой позе. На востоке, за лесом, приглушенная ветром, слаженно раскатилась густая пулеметная очередь. Вскоре на нее отозвалась вторая, пореже, видно, из нашего «максима». Затем слабым далеким отсветом, прорвав вечерний сумрак, загорелась и потухла мерцающая россыпь ракет.

— Обошли! — сердито, с досадой бросил старшина и выругался. Он вскочил, всматриваясь в далекий потемневший горизонт, и снова со злостью, отчаянием и тревогой подтвердил: — Обошли, гады, черт бы их побрал!..

И, беспокоясь за людей, оставленных на переезде, Карпенко быстро зашагал по полю в направлении дороги.

3

На переезде первым услышал стрельбу Пшеничный. Еще засветло он вырыл глубокий, в полный рост, окоп, сделал на дне ступеньку, с которой можно было стрелять

и выглядывать, а затем — ямку внутри, чтобы в случае необходимости быстрее выскочить наверх. Потом старательно замаскировал ломким бурьяном бруствер и отдал лопатку Глечикю, который все еще ковырял землю железным прутом. Выполнив таким образом приказ старшины, он притаился на дне своего нового укрытия.

Тут было тихо и относительно уютно. Брошенная на дно охапка бурьяна защищала от зябкой сырости. Пшеничный заботливо укрыл им ноги в стоптанных грязных ботинках, вытер о полу шинели руки и развязал вещевой мешок. Там боец приберегал краюху добытого в какой-то деревне крестьянского хлеба и добрый кусок сала. Он давно уже проголодался, но на людях все не отваживался есть, потому что тогда надо было бы поделиться, а делиться Пшеничный не хотел. Он знал, что из съестного, кроме разве куса черного хлеба, ничего ни у кого не было. Но не его это забота, пусть каждый старается сам для себя, а на то, чтобы беспокоиться обо всех, есть начальство, хотя бы тот же Карпенко, этот строгий, крикливый служака. И теперь, сидя в добротном, только что вырытом окопе, где никто его не мог видеть, Пшеничный разложил на коленях завернутое в бумажку сало, достал из кармана складной, на медной цепочке ножик и, разделив кусок пополам, порезал одну его половину на тонкие ломтики. Остальное опять завернул в клочок газеты и спрятал на дно набитого всякой всячиной вещевого мешка.

Пшеничный аппетитно жевал своими не очень здоровыми, попорченными уже болезнью и временем зубами и думал, что нужно бы еще притащить бурьяна, зарыться в него и «покемарить», как говорит Свист, часок-другой ночью. Правда, взводный попался придирчивый и настырный, этот придумает еще что-нибудь до утра, но Пшеничный — не Глечик и не подслеповатый Фишер, чтобы покорно исполнять все, что прикажут. Во всяком случае, он сделает не больше, чем для отвода глаз, и уж себя не обидит.

Тихое течение этих праздных, медлительных мыслей было прервано далекими раскатистыми выстрелами. Пшеничный с набитым ртом от неожиданности притих, прислушался, потом, быстро записав в карман остатки еды, вскочил. Над лесом взвилась в небо рассыпчатая гроздь ракет, осветила на миг черные вершины деревьев и погасла.

— Эй! — закричал Пшеничный товарищам. — Слышите? Окружают!..

Уже совсем стало темно. Белыми стенами слегка выделялась сторожка, вырисовывался в небе сломанный остов шлагбаума; слышно было, как рядом, в окопе, копошится старательный Глечик и у железной дороги долбит землю Свист.

— Оглохли, что ли? Слышите? Немцы в тылу!

Глечик услышал, выпрямился в своей еще неглубокой яме. Выскочил из окопа Овсеев и, прислушавшись, через картофельное поле торопливо подался к Пшеничному. Где-то в темноте замысловато выругался Свист.

— Ну что? — кричал из окопа Пшеничный. — Докопались! Я же говорил еще утром. Надеялись на тыл, а там уже немцы.

Овсеев, стоя рядом и вслушиваясь в звуки далекого боя, уныло молчал. Вскоре из темноты вынырнул Свист, подошел и остановился сзади настороженный Глечик.

А там, далеко за лесом, громыхал ночной бой. К первым пулеметам присоединились другие. Очереди их, сталкиваясь друг с другом, слились в далекий, приглушенный расстоянием треск. Беспорядочно и неторопливо шелкали винтовочные выстрелы. В черное поднебесье еще взлетела ракета, потом вторая и две вместе. Догорая, они исчезали за мрачными вершинами деревьев, а на низком, обложенном тучами небе еще какое-то время мигали их неяркие пугливые отсветы.

— Ну, — не унимался Пшеничный, обращаясь к настороженным, примолкшим людям. — Ну?..

— Что ты нукаешь? Что нукаешь, мурло? Запряг, что ли? — зло закричал Свист. — Где старшина?

— Фишера в секрет повел, — сказал Овсеев.

— А то нукаю, что окружили. Окружили ведь, вот и ну, — не сбавляя тона, горячился Пшеничный.

Ему никто не ответил, все стояли и слушали, охваченные тревожным предчувствием недоброго. А в далекой ночной тьме все рассыпались очереди, рвались гранаты, ветром разносилось вокруг негромкое эхо. Людей охватила лихорадочная тревога, сами собой опустились натруженные за день руки, тревожно суетились мысли.

В унылом молчании и застал их старшина; запыхавшись от быстрого бега, он внезапно появился у сторожки и, конечно, сразу понял, что согнало людей к этой крайней ячейке. Зная, что в подобных случаях самое лучшее без лишних слов проявить свою власть и твердость, старшина еще издали, не объясняя и не успокаивая, закричал с напускной злостью:

— Ну, чего встали, как столбы на обочине? Чего испугались? А? Подумаешь, стреляют! Вы что, стрельбы не слышали? Ну что, Глечик?

Глечик растерянно пожал в темноте плечами:

— Да вот окружают, товарищ старшина.

— Кто сказал: окружают? — разозлился Карпенко. — Кто?

— Что окружают — факт, не булка с маком, — ворчливо подтвердил Пшеничный.

— А ты молчи, товарищ боец! Подумаешь, окружают! Сколько уже окружали? В Тодоровке — раз, в Боровиках — два, под Смоленском неделю пробирались — три. И что?

— Так ведь всем же полком, а тут что? Шестеро, — отозвался из тьмы Овсеев.

— Шестеро! — передразнил Карпенко. — А эти шестеро что, бабы или бойцы Красной Армии? Нас вон в финскую на острове трое осталось, два дня отбива-

лись, от пулеметов снег до мха растаял, и ничего — живы. А то — шестеро!

— Так то в финскую...

— А то в немецкую. Все равно, — уже немного спокойней сказал Карпенко и смолк, отрывая от газеты клочок на сигарку.

Пока он ее сворачивал, все молчали, побаиваясь вслух высказывать свои опасения и чутко вслушиваясь в звуки ночного боя. А там, кажется, постепенно становилось тише, ракеты больше не взлетали, стрельба заметно затихала.

— Вот что, — произнес старшина, поглотив сигарку, — нечего митинговать. Давай копать круговую. Ячейки соединим траншеей.

— Слушай, командир, а может, лучше отойдем, пока не поздно? А? — сказал Овсеев, застегивая шинель и позвякивая пряжкой ремня.

Старшина пренебрежительно хмыкнул, давая понять, что его удивляет подобное предложение, и, отчеканивая каждое слово, спросил:

— Приказ ты слышал: закрыть дорогу на сутки? Вот и исполняй, нечего болтать попусту.

Все напряженно молчали.

— Ну, довольно. Давай копать, — уже примирительнее сказал командир. — Окопаемся и завтра как у Христа за пазухой будем.

— Как у Мурла в сидоре, — пошутил Свист. — И сухо, и тепло, и хозяин уважает. Ха-ха! Пошли, барчук, работа не стоит, ярина зеленая, — дернул он за рукав Овсеева, и тот нехотя подался за ним в ночную тьму. Глечик тоже вернулся на свое место, а старшина некоторое время постоял молча, затянулся махорочным дымом и вполголоса, чтоб не слышали другие, зло сказал Пшеничному:

— А ты у меня покаркаешь. Я с тебя шкуру спущу за твои штучки. Попомнишь...

— Какие штучки?

— Такие, — послышалось из темноты. — Сам знаешь.

Обозленный на старшину за угрозу и взвинченный близкой опасностью, Пшеничный какое-то время стоял неподвижно, разбираясь в обуревавших его чувствах, а потом, почти мгновенно приняв решение, бросил в ночной мрак:

— Хватит!

Да, хватит. Хватит месить грязь по этим разбитым дорогам, хватит стучать зубами от стужи, голодать, хватит дрожать от страха, копать-перекапывать землю, глохнуть в боях, где только кровь, раны и смерть. Давно уже Пшеничный присматривался, ждал подходящего момента, взвешивал все «за» и «против», но теперь, попав в эту мышеловку, наконец-то решился. «Своя рубашка ближе к телу, — рассуждал он, — а жизнь для человека дороже всего, и сохранить ее можно, только бросив оружие и сдавшись в плен. Авось не убьют, ерунда все эти сказки о немцах. Немцы ведь тоже люди...»

Ветер шумел в ушах, остужал лицо. Стараясь укрыться от него и отдаться разбуженным, но еще не додуманным до конца мыслям, Пшеничный снова спустился в окоп. Траншею копать он не стал, пусть это делает Глечик, а он уже отработал свое. Ему тут никого не было жаль. Старшина зубастый и въедливый, как фельдфебель; Витька Свист — блатняга и брехун — все Мурло да Мурло. Правда, он и остальных, кроме разве Карпенко, тоже наделил кличками: Овсеев у него Барчук, Фишер — Ученый, Глечик — Салага. Но те все молодые, а он, Пшеничный, раза в полтора старше каждого. Только Карпенко его возраста. Овсеев, тот и в самом деле барчук, избалованный с детства белоручка, способный в учебе, но лентяй в труде, а Глечик еще малец, послушный, но совсем не обстрелянный, боязливый подросток, того и гляди, струсит в бою; Фишер — подслеповатый книжный червяк, из винтовки выстрелить не умеет, зажмуривает глаза, когда нажимает спуск, — вот и воюй

с такими. С ними разве осилишь тех, сильных, обученных, вооруженных до зубов автоматами да пулеметами, которые стреляют, будто швейные машинки строчат?..

В тиши окопа слышно, как неподалеку долбит землю Глечик, изредка поскрипывает от ветра дверь сторожки и шумит, высвистывает свою осеннюю песню высохший бурьян в канаве. Стала донимать стужа. Пшеничный достал из кармана остатки сала, съел, а потом съежился и, сомкнув руки, притих — отдался течению мыслей, заново переживая все свои беды.

Нескладно и горько сложилась его жизнь.

Первые впечатления от обиды цепко и долго держатся в человеческой памяти. Иван как теперь помнит то трудное голодное лето, когда бабы из соседней деревни Ольховки с Пасхи бродили по межам, собирали щавель, крапиву; пухли с голоду дети и старики; черные и молчаливые от горя, всю весну ходили через хутор и поле ольховские мужики. Люди ели траву, толкли древесную кору, терли полову, рады были горсти просеянных отходов, чтобы подмешать в травянистую, противную пищу, склеить «травяники». У них на хуторе тоже было не густо, но травы они все же не ели — доились две коровы, и в клетки в закромах кое-что еще имелось. Тем летом судьба свела тринадцатилетнего Ивана с деревенским парнем Яшкой. И оттого, что в свое время он не сумел сделать выбора между ним и отцом, навалилось на Пшеничного столько несчастий в жизни.

Однажды на какой-то праздник — Петра или Троицу — в душный летний вечер, когда опустившееся к горизонту солнце заметно растратило уже свой дневной жар, тринадцатилетний Иванка возвращался на хутор. Незадолго перед тем родители приехали с базара, и он отвел в кустарник коня, где спутал его и пустил пастись. Уже подходя к высоким массивным воротам своей усадьбы, услышал разговор во дворе — чей-то жалобный женский голос и частое недовольное покашливание отца. Отец в новой праздничной рубаше и жилетке сидел

на ступеньках крыльца и посапывал трубкой, а рядом, сгорбившись, закрыв лицо низко повязанным платком, стояла вдова Мирониха — их какая-то дальняя родственница, она плакала и чего-то просила.

В ту минуту, когда Иван входил во двор, как раз наступила пауза. Женщина с надеждой и страхом уставилась на отца, прикрыв рот уголком платка, а отец зло, как сразу заметил Иван, пускал клубы дыма и молчал.

«Ладно, — наконец подал он голос. — Пусть придет. Дам пудик. А завтра на зорьке чтоб тут был. Косы не нужно, косу мою возьмет».

Женщина перестала плакать, высморкалась, начала кланяться и благодарить, а отец молча поднялся и пошел в дом.

На рассвете следующего дня мать, как всегда, ласково разбудила Иванку на сеновале, подала завязанный в рушник завтрак — кусок ветчины и краюху хлеба. Он всегда в такое время носил отцу в поле еду, но на этот раз еды было вдвое больше. Иванка догадался: это помощнику. Работников они нанимали и раньше — в косьбу, жатву, молотьбу, но держали недолго: отец был требовательный, очень въедливый, жадный к работе, и мало кто мог угодить ему.

Выйдя из ольшаника, Иван увидел наполовину скошенный лужок, а в конце его — отца и Яшку Тереха. Но, видно, что-то там стряслось, потому что они не косили, а стояли друг против друга. Отец одной рукой держал сломанную у шейки косу, другой — косовище и зло смотрел на Яшку. Батрак, одетый в нательную рубашку, с закатанными до колен штанами, почесывал худую грудь и виновато оправдывался:

«Дяденька Супрон, ей-богу, нечаянно. Замахнулся, а тут камень — и отлетела».

«Лодырь проклятый! Гультай чертов! — кричал отец, тряся густой слежалой бородой. — Такую косу сломал! Небось чужое? А? Кабы свое, иначе б смотрел, босота! Ых ты!..»

Он бросил косу, обеими руками схватил косовище, замахнулся и, все больше зверея, стал им бить парня по плечам, голове, рукам, поднятым, чтоб заслониться.

Иван почувствовал, как задрожали от страха, а больше от нахлынувшего вдруг негодования ноги. Он хотел закричать на отца: мальчику жаль было тихого, беззащитного Яшку, любителя рыбной ловли, удивительного знатока всех окрестных лесных тайн. Но Иван не закричал, а потихоньку шел к нему, с трудом переставляя ноги. Лучше бы бежать куда глаза глядят, чем видеть и слышать все это.

За сломанную косу Яшка отработывал лишнюю неделю — стоговал, сушил, возил сено, затем еще помогал в жатву. Иван к нему относился доброжелательно. После того случая на лугу он чувствовал себя очень неловко: угнетала неосознанная еще вина перед парнем и какая-то глубокая, не совсем понятная обида. Впрочем, вскоре они подружились, ходили вместе купаться, возили сено, расставляли на кротов капканы и никогда не говорили про отца. Иван знал, что Яшка ненавидит хозяина. Эта его неприязнь незаметно передалась и молодому Пшеничному. Он чувствовал, что отец скупой, злой, несправедливый, и это невольно угнетало его.

Минуло несколько лет. Иван втянулся в крестьянскую работу и, вопреки себе, во всем шел за отцом, который безжалостно школил сына в несложной земледельческой науке, постигнутой на суровом собственном опыте. Яшка вскоре пошел на службу в Красную Армию, отслужил там два года и вернулся в деревню совсем другим — повзрослевшим и как-то вдруг поумневшим. Через некоторое время он стал заводилой всех молодежных дел в деревне, начав свою общественную деятельность с кружка воинствующих безбожников.

Иван сторонился деревенских парней, в деревню ходил только по праздникам, на вечеринки, а вообще жил отчужденно — своим хутором, хозяйством, под каждодневным отцовским надзором и понуканием. Но взаим-

ная привязанность молодого Пшеничного и бывшего батрака Яшки, видно, сохранилась в сердцах обоих, и вот однажды поздней осенью, встретившись на деревенском выгоне, Яков пригласил его прийти вечером посмотреть репетицию «безбожницкой» пьесы. Иван, не подумав тогда, как к этому отнесется отец, согласился. Вечером смазал дегтем юфтевые сапоги, набросил поддевку и пошел. Репетиция ему понравилась. Сам он не участвовал в пьесе, зато посмотреть на других было интересно. Потом он зачистил в ту обветшалую, скособоченную вдовью хатку, где собиралась по вечерам деревенская молодежь, ближе сошелся с хлопцами и девчатами. Его не обижали, хотя иногда незло подшучивали, называя молодым подкулачником.

И вот об этом как-то узнал отец. Однажды утром, расходившись, он накричал на Ивана, ударил уздечкой мать, когда та заступилась за сына, и пригрозил выгнать из хаты безбожника, позорившего честь отца. Ивану было очень обидно, но давняя закоренелая привычка во всем подчиняться его воле взяла верх, и он перестал ходить к Яшке. Яков это быстро заметил. Возвращаясь как-то вместе с мельницы, они разговорились по душам.

Говорил, правда, Яшка, Иван больше слушал, потому что по натуре своей был молчалив, но не согласиться с тем, что говорилось, не мог. А Яков рассказывал о классовой борьбе, о том, что старик Пшеничный — сельский мироед, что он выжал все соки из его, Ивановой, матери, как батрака заездил самого Ивана, что он готов подавиться от жадности.

«Слушай, как ты живешь с ним? Я удрал бы от такого злыдня. Разве он отец тебе?»

Ивану было тогда не по себе. Они шли по тихой песчаной дороге за груженными возами, и перед их глазами, уныло поскрипывая, мелькали и мелькали колеса. Иван верил Яшке и понимал, что лучше было бы порвать с отцом, пойти на свой хлеб, как-нибудь прожил бы, но на это не хватало решимости. Вот так, как следует не

сомкнувшись, разошелся его путь с людьми, с теми, кто дал бы ему веру в жизнь, в собственные силы и, быть может, уберег душу от тоски одиночества.

Не прошло и двух лет, отца раскулачили, забрали в сельсовет все их имущество, описали постройки, а самого с матерью выслали. Иван в ту зиму жил в местечке у дяди и учился в семилетке. Дядя был неплохим человеком, как говорят, мастером на все руки. К племяннику относился, как и к своим дочерям, никогда ни в чем не упрекал его. Но по едва уловимым приметам и мелочам юноша видел, что он все же лишний, чужой в этой семье, и от этого не было Ивану радости. Учился он неплохо, понимал и любил математику и после семилетки подал документы в педагогический техникум. Он ждал экзаменов, видя в своем студенчестве единственный счастливый выход из того тупика, в который загнала его жизнь. Но на экзамены его не вызвали, документы вскоре вернули, и в холодной казенной отписке было сказано, что в техникум его принять нельзя, потому что он — сын кулака.

Это было огромным горем для молодого Пшеничного, гораздо большим, чем раскулачивание, видеть которое ему не довелось, первой, действительно незаживающей раной в душе. Иван решил, что он не такой, как все, что тень отца, как проклятие, будет тяготеть над ним всю жизнь. Что-либо исправить в этом, казалось ему, уже было поздно.

После неудачной попытки учиться дальше Пшеничный — уже рослый, привычный к труду парень — около года перенимал у дяди его ремесло каменщика, а затем отправился в город искать своего хлеба и своего счастья.

В Брянске он поступил в артель каменщиков, попал в бригаду таких, как сам, молодых парней, возводил фабричные громады, по узким дощатым дорожкам гонял тачки с раствором, по стремянкам таскал на этажи кирпич. Себя он не жалел, работал с жаром, с отцовской вьедливостью. Это вскоре заметили рабочие и на-

чальство. Его хвалили на собраниях, ставили в пример остальным, и парень постепенно стал забывать о своей ущербности и былых неудачах. О родителях он никому ничего не рассказывал, писем от них не получал и не знал, где они и что с ними. По ночам ему иногда снилось что-либо из детства, и сердце его сжималось тогда от жалости к тихой, забитой матери. Отца он не жалел, знал: он и там такой же несправедливый и злой.

В то время на стройке создали комсомольскую ячейку, многие хлопцы вступали в комсомол и, конечно, потянули туда лучшего каменщика Пшеничного. Он подумал, слегка поколебался, а потом, поощренный доверием и повеселевший, поверил, что и он сможет стать человеком, и подал заявление. На собрании потребовали рассказать все о себе, о родителях и родных и, когда услышали, что он сын кулака-хуторянина, в приеме в комсомол отказали.

Он тяжело переживал эту неудачу, несколько дней не ходил на работу, пластом лежал на койке в общежитии. Случилось так, что не нашлось никого, кто оказался бы к нему ближе всех в ту минуту, успокоил, подбодрил. Наоборот, все как-то вдруг переменялись, стали его сторониться, держаться отдельно, своей комсомольской компанией. Это была смертельная, на всю жизнь, обида. Иван Пшеничный уже окончательно уверовал в свою отверженность.

Он уехал из Брянска, жил некоторое время в Донецке, работал на шахтах и везде помнил, что он не ровня другим, что он — классовый враг, что между ним и людьми пролегла глубокая пропасть. Порой он старался забыть в труде, иной раз — в водке, но это не забывалось, не проходило никак и нигде. Об этом ему напомнили и в военкомате, когда призывали в армию. «Ты сын кулака и будешь служить в рабочем батальоне», — сказал озабоченный суетливый капитан. И Пшеничный стал красноармейцем рабочего батальона — немало учился военному делу, а больше работал: строил